

МИР И ЧЕЛОВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ ТУМАНЯНА

Х. С. САРКИСЯН

В одном из писем начала века Туманян пишет: «...Преходящее отошло из моего сердца, а с непреходящим пока не связан; неизвестное, которое должно быть присуще вдохновенному поэту, пока во тьме для меня и... блуждает моя душа» (V, 274)¹.

В этих словах, конечно, нет полной определенности, контуры мысли еще строго не очерчены, поэт ее только чувствует, все пока в брожении. Но это брожение имеет направленность. Преходящее уже чуждо поэту, его интересует только непреходящее и над ним, над нахождением этого, стимулирующего полноценное творчество неизвестного, бьется его мысль; с неизвестным, верно, он — как говорит сам — пока не связан, но именно пока не связан, пока он находится во тьме, следовательно, есть надежда на рассеяние этой тьмы и на выявление страстно ожидаемого образа.

Этот образ появился как откровение в замечательном стихотворении «Перевал», написанном в тифлисской Метехской тюрьме в 1909 г. Вот как оно начинается:

Сорок лет тропую прямой
Я неуклонно иду вверх
В светлый мир, на лоно
Святому Неизвестному...

Итак, неизвестное раскрыло свое лицо: оно уже пишется с заглавной буквы, названо «святым», ставится на одну доску со «светлым миром» и, обитая на вершине бытия, здесь же, в стихотворении противопоставляется находящейся внизу, в долине, ничтожной, гнетущей душу действительности — богатству и почету, зависти и злорадству. Неизвестное приобрело большую ясность.

Еще полнее раскрыло свою сущность Неизвестное в стихотворении «С отчизной», написанном в 1915 году, в год зверского уничтожения полуторамиллионного армянского населения в Турции.

Хоть мой взор давно обращен к Неизвестному, — говорит Туманян, — хоть мое сердце с мыслью моей давно бродит в безбрежности, но каждый раз, когда с тоской обращаюсь к тебе, сердце мое щемит от твоих вздохов, от скитающихся на чужбине молчаливых рядов твоих сыновей.

¹ Цитируем по собр. сочинений Ов. Туманяна в шести томах на армянском языке, Ереван, 1950—1959. Римскими цифрами указан том, арабскими — страницы. Четверостишия даются в подстрочном переводе с обозначением даты их написания.

И вижу я как дикие орды опустошают твои цветущие поля, как песню твою превращают в душераздирающий плач. Но,— продолжает поэт, выпрямляя согнутую спину,— твердо стоишь ты на путях старого и нового, вынашиваешь в муках великую думу:

И настанет лучезарное утро всеобщего счастья,
Осиянное тысячами просветленных душ.
И животворящий его луч воссядет на вершине Арарата,
На освещенных веками его склонах,
И поэты, не осквернившие свои уста проклятием,
Станут воспевать тебя новыми словами, новыми песнями...

Эта конечная строфа стихотворения полностью перекликается с его первыми строками. Ибо, что значит — поэт, уста которого не осквернены проклятием, что значит лучезарное утро, осиянное просветленными душами, если не то святое Неизвестное, к которому вечно стремилась душа поэта, та безбрежность, в волнах которой трепетала его мысль Будущее родины у Туманяна, воистину, вливается в симфонию его великих дум. Его народ томился в мутных волнах, в темных ущельях исторической действительности, в низах жизни, а ныне подымается и доходит до светлых вершин бытия, до подлинно человеческого существования.

Не следует думать будто «Неизвестное» некий знак, некий символ «Неизвестное» — это искание, предчувствие, усилие мысли для овладения истиной. От первого его упоминания до последнего прошло более десяти лет. За эти годы оно раскрыло или почти раскрыло свой лик, но,— как это часто бывает,— наименование осталось прежним. Однако это наименование больше не повторилось, ибо за исканием последовало нахождение.

Еще в начале века в стихотворении «Товарищу» Туманян сказал: с безудержной тоской стремлюсь всегда в Высь (V, 209), причем, тут же он дал объяснение Выси: «мир идей и мечтаний». В поэме «Жар-птица» или «Тысячеголосый соловей» (в основе поэмы — сказка об обретении засохшим садом и озверевшими его служителями исконного вида силой чарующей песни Жар-птицы), оставшейся недописанной, Невидимое в часы рассвета приглашает Арега в Высший мир,— а это то же самое, что и Высь, и оба пишутся с большой буквы,— нашептывает ему о том же из лесных чащ, его голос слышен в журчании ручейка. Ясно, что Невидимое также не символ и по своему содержанию совпадает с Неизвестным. В них воплощается вся сумма творческих возможностей бытия в создании высшей идеальной действительности.

*

Прежде чем эти искания дошли до своей образно-поэтической ясности, они (динамика их развития) отложились в мыслях Туманяна. В 1913 году, в разгар поисков Неизвестного, в статье «Разве трудно?» Туманян пишет: «Жизнь в своей целостности велика, очень велика.

Жизнь — это космическая жизнь и все величие и прелесть человеческой жизни в том именно, чтобы через посредство своего окружения жить этой большой жизнью. Но человеку обыкновенно не удается жить этой большой жизнью, он живет только одной ее частью — жизнью человечества. Но даже ею, человеческой жизнью, немногие способны жить. Ведь жизнь насколько безгранично велика, настолько же безгранично мала. И вот (люди) вообще живут более узкой и маленькой жизнью. Существует национальная жизнь, более того — узкая ограничено-групповая жизнь, (они) подобно враждебным лагерям стоят друг против друга вплоть до своего ничтожного «я»... Таким образом, шаг за шагом в такой мере она суживается и делается малодушной, что глушит свободное дыхание человеческого существа»... (IV, 224).

Это — весь космос, его структура, картина мироздания и его ступенчатости, нисхождения от высших сфер бытия до низших, оценка этих сфер. Эти сферы соизмеримы друг с другом, имманентны друг другу. Они контрастны, но едины. Бытие здесь с неизбежными противоречиями возвышается от несовершенного к совершенному. Это развитие, но не в смысле хронологической последовательности, а логической.

В другой своей статье, «Навстречу большой жизни», написанной в 1915 году, Туманян говорит: хоть и в прошлом человек ел человеческое мясо, ныне уже человекоубийство считается грехом, и для его устранения пекутся мораль, право и искусство.

«Более того,— продолжает Туманян, вы видите, что в человеке укореняется, развивается и разворачивается альтруизм — широкое чувство любви к ближнему, которое ведет к всечеловеческому братству.

И дальше. В нем постепенно определяется, подчеркивается и закрепляется глубокое и высокое чувство любви ко всему живому..., которое ведет к большой вселенской жизни» (IV, 311).

Это мечта,— заканчивает свою мысль Туманян,— мечта лучших людей, и хоть мы далеки от нее, прогресс, все-таки, ведет именно к ней.

В этом отрывке говорится примерно то же самое, что и в предыдущем, только в обратном порядке, от низшего до высшего, до вселенской жизни, с той разницей, что человечество не выделяется, а включается в понятие жизни вообще.

Итак, вершина бытия по Туманяну, это—вселенская жизнь. В этой высокой жизни и приобретает свое очертание Неизвестное.

*

В приведенном в начале нашей статьи отрывке из письма Туманяна, в котором впервые говорится о Неизвестном, о непреходящем, сказано также что «преходящее отошло из моего сердца». То же самое мы видим в «Перевале»: спускаясь с высшей точки расцвета жизненных сил, скорбь ничуть не охватывает поэта, он продолжает радоваться жизни— и здесь проходящее не занимает места в его сознании.

Однако независимо от того, что искание постоянного, абсолютного, т. е. Неизвестного, заслоняло собою проходящее, оно, это проходящее

давало о себе знать если не в основной магистрали развития поэтического мышления Туманяна, то, во всяком случае, на каких-то иных путях.

С 90-х годов в лирических стихотворениях Туманяна, в особенности, в четверостишиях, — а это уже последние годы его жизни, — мы слышим вздохи об уходящих днях, об их неповторимости. И хотя от этих дней остаются дорогие воспоминания, но сколько грусти в них! Сознание преходимости подчас делает эту грусть красивой и углубленной, — говорит Туманян, — но ведь все-таки в жизни нет постоянства, ведь все меняется, теряет свой первоначальный вид. Сегодня мы хозяева, завтра придут другие. Горесть — спутник человека:

Прошел я с камнем на сердце — как вода,
Только тину унес с собою — как вода,
В мире моем не имел покоя — как вода,
И ушел я, не вернулся — как вода...

— этими замечательными словами Хагани запечатлевает свою печаль Туманян. Однако им не овладевают мысли о суетности или бренности жизни, о ее бесплодности. Но его охватывает сожаление о невозвратности былого, жалость к трагической судьбе человека. Знаешь ли, дорогая Арпик, — говорит он, обращаясь к дочери, — сколько зарыто сердце под твоими ногами, как много их, погруженных в бездонную тьму!

Созвучно этому мотиву, но переступает его границы, следующее четверостишие Туманяна:

Хаям сказал возлюбленной своей: ступай осторожно по земле,
Кто знает, не топчешь ли ты очи красавицы юной?
Друзья, пусть осторожной будет и поступь наша, кто знает,
Что топчем мы теперь: очи красавицы или огненный язык Хаяма
(1920, 6 апреля)

Да, навеки померкли очи красавицы, навеки умолк Хаям, но не умолкло его слово, оно бессмертно, его пламя перекрыло все — и смерть, и тление, оно больше не воспоминание, хотя бы и сладостное, но действительность, живая действительность, полная дыхания. Туман рассеивается, и перед нами величественно выступает животворящее слово.

В ранних песнях Туманяна, тесно связанных с народными мотивами, как и все его творчество — звенит весна, звенит утро, звенит песня на полях, в поэме «Ануш» звенит песня девушек, идущих за водой. В дальнейшем, в «Давиде Сасунском» звенят груди Хандут, возлюбленной Давида, в «Жар-птице» — зачарованные рощи Эдема, в прекрасном стихотворении «Видение» — голоса близких людей в девственном лесу.

А вот, что мы читаем в четверостишии, написанном в 1922 году (14 августа):

Это все, что есть... Ты прав, подыдем чашу!
И это уйдет как во сне, подыдем чашу!

Жизнь течет во вселенной звеня,
Один живет, другой ожидает, подыдем чашу!

Итак, уже не отдельные отрывки действительности звенят, а вся действительность, вся природа, вся вселенная. И это уже не звон, а трезвон на весь мир. Слово поэта приобрело универсальное значение. И оно, это слово, взметнулось тогда, когда поэт очень серьезно и грустно заговорил о преходности жизни. Однако в ярких лучах всеобщего жизнеутверждения померкли его грустные раздумья. Призыв «подыдем чашу», смягчив эту грусть, идет дальше: ведь в чаше вино, оно пенится, искрится, и тем самым откликается вечно движущемуся, вечно живущему, вечно творящему космосу.

Почти одновременно с вышеприведенным четверостишием Туманян написал стихотворение «Аврора», в котором самозабвенно восхищается, экстатически воспеваает солнце, небесного властелина, который на своих крылатых, со златокованными копытами, конях вихрем скачет по вселенной, настигает Аврору, заключает ее в свое огненное объятие, сливает с собою. Это — гимн природе, гимн обновлению всего сущего. Физическое угасание поэта сопровождали яркие вспышки духовного прозрения. Бытие торжествует на всех своих гранях.

Так начинает вырисовываться человеческое, человеческая жизнь на фоне вселенской жизни, в сочетании с нею.

Резкое противопоставление высшей вселенской жизни низшим проявлениям действительности, несправедливостям человеческого общества: гниль государственного строя, национальная рознь и т. д. (Туманян решительно отвергал все эти отрицательные проявления), резкое это противопоставление весьма ярко выразилось в одном из его четверостиший:

В эдемах Востока настал светлый вечер,
В сказочных палатах ждут души моей,
Что мне делать здесь, в этой грязи, в диком шуме,
О, если б я вновь нашел дорогу, туда, в свой дом...
(1919, 21 ноября)

Здесь чаяние, желание найти потерянное, дорогое, сознание, что его с нетерпением ждут в очарованных краях, там, на Востоке, который он считал родиной своей души.

В другом четверостишии, являющимся как бы развитием и завершением предыдущего, мы читаем:

Божественный путник во вселенной моя душа,
Преходящий на земле, земной славе непричастна моя душа,
Удалилась она и дошла до далеких звезд,
Оставшимся внизу людям уже чужда моя душа...
(1922, 8 июля)

Искомое найдено: Туманян дошел до далеких звезд, он в дружбе с ними, он путешествует по вселенной, он божественный пилигрим. Нелегко ему это досталось как нелегко досталось — выше мы убедились в этом — услышать звон мироздания. О неимоверной напряженности его мысли-воображения свидетельствуют два его изумительных по глубине четверостишия 1921 года от 16 и 21 мая.

Как математик, орудуя мнимой, непредставимой, но мыслимой величиной, доходит до положительных результатов, так Туманян, беседуя в этих четверостишиях с вершины Арарата с Единым о непостижимом слове (ведь слово—символ постигнутого, как же оно непостижимо?), о начале небытия (какое же начало может иметь несуществующее?), о скончании бесконечного (бесконечное — и вдруг оно кончается?), об измеримости безмерного, так, повторяем, Туманян, в сумерках незапамятных воспоминаний, в лучезарных мирах звездных сновидений, в беспорочных далях взлетов мысли приходит в соприкосновение с глубокой сущностью бытия; другими словами, от противоречий — непредставимых и даже как будто немислимых — до чарующей гармонии.

О, невыразимое Единое, что всех объединяешь в одной жизни,
В каждой жизни незримо, несгораемо пылаешь,—
Все свободны и близки в этом мире Тобой,
Все в тебе бессмертно, бесконечно поют Тебя голосом Твоим...
(1921, 3 августа)

Поэт говорит об абсолютном единстве, об абсолютной органичности вселенной, о взаимопроникновении ее частей, о зависимости ее отдельных единиц от целого и целого от отдельных единиц, гяготение этих единиц друг к другу, их теснейшая связь и одновременно полная свобода, огонь, которым они проникнуты в стремлении к еще большей интеграции.

За эпическим восприятием единства вселенной следует лирический подход к нему.

Я чувствую живое ее дыхание всюду,
Я слышу ее неумолчный зов всюду,
Моя всеобъемлющая душа чувствует
Шепот и мелодию вселенной всюду...
(1921, 14 февраля)

Мелодия вселенной (в другом четверостишии — улыбка вселенной) — поэт весь пропитан ее чарами, весь проникнут ее стихией, он с нею во всех ее изгибах. Мы видим полную причастность поэта миру, его кровное родство с ним, его единство с сущим. Вселенная—его родина, его дом. Ему хотелось бы растаять, раствориться в мире, слиться с ним, стать безымянным, безличным (12 мая, 1920 г.; 6 мая, 1921 г.).

Природа усыновила поэта. Он — родное дитя сущего. При его крещении небо было храмом, солнце — светильником, гора — крестным отцом, роса — миррой. Природа была его купелью и природа же нарекла его поэтом (октябрь, 1921 г.).

Усыновленному природой, поэту доступны были ее письма. Одно из его стихотворений так и называется: «Прочтение вселенной». Туманян с благоговением пишет:

Немигающим глазом, родной душой,
Читаю твои величественные дела,
Читаю ясным радостным днем,
И страшными, роскошными ночами...

Каждый час и каждую минуту вселенная доступна поэту, он беспрерывно читает величавые страницы этой необъятной книги. Поэт благодарит ее, что она дала ему высокий взор, чтобы достигнуть верхних границ существования, дала пронзительную мысль, зажгла на его челе улыбку. В восторге от красот вселенной, Туманян называет ее великим Поэтом, поэтом с большой буквы, а себя — скромным Читателем, но тоже с большой буквы. Туманян сознает свое величие, свою мудрость, умение проникнуть в суть вещей.

На тысячу лет, на тысячу веков вперед или назад — ну и что ж,
Я был, я есть, я буду вечно — ну и что ж,
Переменю тысячу таких форм, форма — игра преходящая,
Моя душа всегда вместе с великой душой вселенной — ну и что ж...
(1921, 3 мая)

В этих строках чувствуется великая гармония вселенной, ее бессмертие, ее гранитные основы, ее незыблемость при вечной смене форм, ее бесконечная созидательная мощь, ее единство с человеком.

*

Творческая эволюция Туманяна, его идейно-художественное развитие находится в поразительном соответствии с представлением поэта о структуре мироздания, о ее ступенчатости.

В самом деле. Туманян начал свою литературную деятельность с отображения неприглядной жизни, низов действительности — суеверия, невежества, вражды. В дальнейшем, в его поэмах и легендах, в сказках и рассказах явно проглядывают мечтания о лучшем, идеальном человеческом существовании. Наконец, последний этап его творческой жизни: в четверостишиях раскрывается высший, звездный мир, вселенная со всеми ее глубинами.

В намеченном соответствии, возможно, проявляется насыщенность сознания поэта сущим, уразумение собственного пути, его направленности, целеустремленности.

Вполне естественно, что конечная точка этого пути, знакомый нам высший мир, не сразу создан в художественном представлении Туманяна: его зачатки, его контуры можно наблюдать на всем протяжении творчества поэта.

Нам известно, что четверостишия поэт написал в последние пять—шесть лет своей жизни. А ведь еще в 90-ом году он написал два четве-

ростишня, которые по духу своему сродни написанным через двадцать пять — двадцать шесть лет! Была дана как бы заявка, поэт не забыл ее и реализовал спустя долгие годы.

Нам известно также, что начиная с 90-х годов отдельные отрывки действительности «звенели» у Туманяна и только в начале 20-х годов, спустя тридцать лет, дошли до звона на всю вселенную. Бутон превратился в пышный цветок. Слово нетленно, оно может подспудно пролежать и десять, и сто, и тысячу лет, а затем возродиться, распуститься.

В те же годы, на заре своей творческой жизни, Туманян, в одном из своих стихотворений, восхищаясь восходом, вдруг постиг, что в нем повторяются синие глаза любимой девушки. В поэме «Ануш» Саро и Ануш душевно беседуют о своем горе — один с горами, другая — с цветами. Прелестна также легенда о превращении девушки с горя в иву — грустные переживания девушки о забытой любви, ее трепет полностью отражаются в очертаниях ивы: она дрожит, стыдливо уныла, ее листья плакучи. Так, чувство родства с природой, развиваясь, доходит до величественного его понимания в четверостишьях, до осознания гармонического единства человека с вселенной.

В литературной деятельности Туманяна 90-ые годы считаются сравнительно мало продуктивными, не всегда характерными, а ведь все вышесказанное относится как раз к этим годам. Мы видим целостность творчества Туманяна, его проникновенность единой идеей.

Произведения Туманяна эстетически завершены, но, в точной зависимости от динамичности его творчества, от движения его художественных произведений в определенном направлении, они не замкнуты, не прикреплены к неподвижной точке, а, наоборот, живут, в них имеется просвет, возможность перехода в иное состояние. Даже в ярко выраженных безрадостных четверостишьях заметна эта возможность. Поэт говорит:

Как много скорби и могил в моем усталом сердце!
Я стольких близких схоронил в моем усталом сердце,
И я припомнить не могу в жестокий этот час
Чтоб свет когда-нибудь светил в моем усталом сердце.
(Перевод Н. Гребнева)

Как ни грустно-печальны эти строки — и все-таки свет когда-то светил в его сердце!

На отрицании Туманян никогда не останавливался. В мире много зла, — говорит он в своих стихах, — но моя душа улыбается злему, наравне с добрым. Я много страдал, много видел коварства, но всегда бестрепетно выносил его, прощал, плохое видел в хорошем свете. Мое возмущение полно любви, моя ночь полна звезд. Тяжела жизнь, человек подчас чувствует себя несчастным, ищет чего-то вне себя, — но ведь пленительны просторы мира, ведь в них щедро разлиты красота и добро.

То же самое мы видим в лучших поэмах и легендах Туманяна. Как бы печальна ни была отображаемая жизнь, — казалось, даже беспросветной, — одной своей стороной она тянется в высь, к идеальному.

В поэме «Ануш» (1901) многое угнетает ее героев, Ануш и Саро. Они погибают, подавленные дикими патриархальными нравами, предрассудками, суевериями. Но драматизм судьбы, непреклонность в чувствах, непокорность обстоятельствам придает их героической любви общечеловеческий характер. И мечтания влюбленных осуществляются там, далеко, в безбрежности небосвода, в поцелуе нареченных им звезд.

Легенда «Взятие крепости Тмук» (1902) поражает нас своим глубоким драматизмом. Княгиня, конечно, жадна, вероломна — и все-таки в мире она прошла, — говорит поэт, — как весенний цветок, до конца осталась для него черноокой красавицей. В чем же дело? Княгиня пленила Туманяна своим претворением черной измены в искреннее раскаяние, подлинно-человеческим поворотом сознания, разоблачением подлой души Надир-Шаха. Центр развития сюжета легенды — измена, ее смысл — преобразование, возвышение с бездн падения на высоты морального очищения.

Трагична судьба царевны в легенде «Парвана» (1902). Верно, сама царевна, ее отец, их дворец очутились на дне озера, образовавшегося из ее же с горя пролитых слез в напрасном ожидании возвращения рыцарей с вечным огнем. Легенда склоняет нас к мысли, что это вообще невозможно. Однако, невзирая на это, рыцари, обуреваемые любовью, превратились в мотыльков, самозабвенно бросались в любой огонь за этим самым вечным огнем и погибали в несметном количестве, бросались и погибали. Любовь вечна, она — космическое начало.

В начале нашей статьи было сказано, что поэма Туманяна «Жар-птица» осталась неоконченной. Поэт задумал ее в конце прошлого века и прекратил работать над нею примерно тогда, когда начал писать четверостишия. Хотя и золотые мысли-образы (они едины, взаимопроницаемы, это — упряжка, колесница с двумя крылатыми конями) четверостишии рассыпаны на всем протяжении творчества Туманяна, но их близость особенно ярко чувствуется с «Жар-птицей». Оно и понятно: по замыслу поэта в ней должны были быть вложены все его думы и мечтания, окончательные выводы долголетних размышлений и чаяний. Несомненно, что поэма послужила творческим импульсом написания четверостиший. С другой стороны, возможно, что они помешали ее завершению: в изящных стихотворениях в четыре строки все или почти все уже было сказано. Поэма разбилась на десятки рукавов и в таком виде влилась в глубокие воды творчества поэта.

Мы знаем, что в поэме ее героя, Арега, уже звали в Высший мир. Но если в начале Высший мир нами был сопоставлен с Неизвестным, теперь уже ясно, что это — набросок того звездного мира, той светлой вселенной, к которой в четверостишиях стремились все помыслы поэта.

Мудрый старик, напутствующий Арега на трудный и далекий путь в поисках Жар-птицы, говорит: «Я тот, на которого все смотрят, а он ни

на кого; я тот, у которого все спрашивают, а он ни у кого. Я начало и конец, я грань и середина, я бесконечное, я бодрствующий. Бесконечный, безличный — мною полно все»

Совершенно ясно, что эти строки — начальная форма того, знакомого нам четверостишия, где говорится о Едином, о Вездесущем, о гармонической законченности мироздания, а тем самым — о торжестве в нем доброго начала.

Противопоставление высоких дум непривлекательной действительности, — как в данном случае, — характерно для Туманяна и находится в полной зависимости от его динамического представления о мироздании: восхождение на высоту, углубление в безграничную даль.

Посему в мире, в жизни человека поэт подчас видит несоответствия, несогласованность. Изобилие мира, его богатство и до расточительности щедрость не гармонирует с тем, что человек чувствует себя несчастным. Всеобъемлющей мысли человека противостоит и краткость его жизненного пути, и ограниченные возможности его опыта — мысли доступно то, что недоступно восприятию. Много получаем от природы и мало ему возвращаем — отдача невелика, громадно чувство ответственности, а его удовлетворение ничтожно.

В «Жар-птице», рассуждая о физической структуре мира, Туманян говорит, что составляющие природу элементы находятся в противоречии друг к другу. А задолго до написания поэмы Туманян говорил, что творящие мир силы без устали, вечно дают друг друга, порывисто вздымаются, тревожно опускаются. Но если донскаться до источника и корня вещей, утверждает он, тогда «...рассеется тьма, кажущиеся противоречия предстанут понятными и естественными и в хаосе покажется гармония, — ежели она имеется» (V, 278).

Арег именно борец за эту гармонию. Он как бы лирический герой четверостиший. В гуще несовершенного, он, преодолевая препятствия, прокладывает путь к совершенному. Ему советуют остаться в богатом родительском доме и прожить спокойно — он не слушается. Его предупреждают, что на пути тысячи невзгод, он продолжает идти своей дорогой. Арег — герой, отважный человек, как называет Туманян людей, беззаветно преданных идее. Сказка превращается в поэму с явно выраженной социальной тенденцией, в поэму борьбы за человека, в поэму воспевания человека и всего сущего. А ведь именно в этом смысл четверостиший. Так тесно примыкают друг к другу — не только хронологически, но и по существу — последнее, завершающее произведение Туманяна — четверостишия и предшествующее — «Жар-птица».

Туманян, не написав ни одной драмы, считал себя драматургом. Это вполне правомерно, исходя из того, какой динамичной он считал действительность, какую отразил ее в своих произведениях. И четверостишия, воистину, являются последним актом единственного его драматургического произведения — всего его творчества: в них, в четверостишиях, мы видим замыкающие волны величественного шествия человечества к высшему, звездному, вселенскому.